

**В Рукописном отделе
(Лепестки воспоминаний)**

Пролог

Первый раз переступил я порог Публичной библиотеки с трепетом и благоговением в начале века, в 1901 году, студентом первого курса, еще полный живых впечатлений от давнего либерального романа Д. Л. Мордовцева «Знамения времени», где так часто фигурирует Публичная библиотека с директором ее Бычковым. Если бы собрать все то, что написано о нашей Библиотеке в одной художественной литературе, получилась бы книга интересная и поучительная, ярко рисующая историю нашей общественной жизни, историю борьбы за свободу мысли, в картинах, полных иногда высокого пафоса, иногда глубокого трагизма.

И когда я теперь, через сорок лет после первого посещения, вхожу в серьезные залы Рукописного отдела, когда я вижу замечательную фигуру хранителя все с той же фамилией Бычкова, которую так хорошо знали наши отцы и деды, я каждый раз испытываю особый подъем, ощущаю всю важность вершимого здесь дела. Ведь для нас – восточников Рукописный отдел всегда был и остался редкой школой; сюда мы робко входили юными студентами, здесь создавались наши первые работы, и через десятки лет мы, уже поседев, все продолжали приходить сюда учиться со своими учениками и направляли сюда учеников своих учеников.

Среди этих высоких, немного суровых стен зародилось неисчислимое количество диссертаций, было сделано немало выдающихся научных открытий, когда вглядывавшийся в рукопись вдруг откидывался на спинку стула, а в мыслях у него уже оформлялась новая неожиданная идея и он трепетно переживал великое счастье ученого – процесс научного творчества, который одинаково дорог и тому, кто стоит у реторты в лаборатории, и тому, кто вглядывается в строки рукописи на столе.

Все располагало здесь к работе и как-то сразу окутывало ее атмосферой. По временам даже трудно было поверить, что за стеной кипит шумная уличная жизнь; здесь тишина, как в хорошей лаборатории. Неустанно пишет «Нестор летописец», застывший белой статуей, для которой здесь нашлось такое хорошее место. Тихо движется фигура верного хранителя рукописных сокровищ, всегда готового придти на помощь и советом, и справкой; тихо шелестят за столами страницы многовековых рукописей и книг. Медленно, шаг за шагом, строчка за строчкой творится научная работа, результаты которой выйдут далеко за эти высокие стены, попадут и на шумящие за ними улицы, в листах газет и журналов будут разнесены по всей стране, станут на полки среди книг Публичной библиотеки.

Проходят года, меняются поколения ученых, но работа здесь идет, не останавливаясь. И по-прежнему, как *spiritus movens* Рукописного отдела, тихо

движется замечательная фигура хранителя, при жизни перешедшего уже в историю и легенду. Редкая юбилейная дата, как прожектором, неожиданно осветит пройденный путь и тогда ярко встает все то, что сделал Иван Афанасьевич и для своей страны, и для науки, и для всех ученых. Однако этот прожектор бросает лучи и на страницы нашей жизни и на листы тех рукописей, что оставили в ней неизгладимый след...

1.

Совсем молодым магистрантом, только что кончившим университет, сижу я в Рукописном отделе. Передо мной на столе пять листков пергамена – все, что осталось от большой когда-то рукописи. Но эти листки и теперь бесценны. «Из коллекции Тишендорфа», – многозначительно прошептал Иван Афанасьевич, принеся их откуда-то из таинственных сокровищниц Отдела. С особым чувством рассматриваю я их. «Писано в 272 году по годам арабов», – стоит в конце: рукопись на тысячу лет старше меня. Я вчитываюсь в этот апокриф, где Сатана беседует со Смертью; я чувствую, почему церковь не включила его в свой канон – слишком ярко отражены в нем человеческие чувства, не так, как подобает по уставу монахам. Подпись обстоятельна: «Писал этот список Авва Антоний багдадский в монастыре святого Саввы, а просил его написать Авва Исаак для горы Синая». И сквозь эти строки, как живых, вижу я отшельников, точно сошедших со страниц апологов Лескова. Их разделяет пустыня, но она не может прервать дружеского обмена литературой; дикие бедуинские племена не в силах закрыть дорогу рукописи, и она свершает свой путь из Палестины на Синай.

Через год я сам бродил уже около Мертвого моря и ночевал в монастыре святого Саввы. Толпа образов окружила меня. Вспоминалась поэма Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин» – ведь здесь Дамаскин посадил пальму и потомок ее, единственный в этой местности, и теперь осеняет небольшую площадку. Может быть под этой пальмой «Авва Антоний багдадский» и писал в 885 году рукопись, конец которой бережно хранит в XX столетия Рукописный отдел нашей Библиотеки.

2.

Странную рукопись вынес мне сегодня Иван Афанасьевич. Я все пытаюсь проникнуть в отношения арабов к покоренному населению, хочу понять связи мусульман с христианами, объяснить распространение арабского языка в Сирии. В инвентаре я нашел упоминание неизвестного арабского евангелия и просил его достать, а он принес какой-то большой лист бумаги, едва уместившийся на столе. Развернув его, я с изумлением увидел два слова, выписанные арабскими буквами во весь лист бесчисленными пунктирными линиями: «Александр Николаевич». Я сперва ошеломлен и только взглядевшись, обнаружил, что принятое мною за пунктир на самом деле – мельчайшие строчки арабского письма. В этих-то строчках в двух словах и оказался выписанным по-арабски весь текст евангелий. Но при чем тут «Александр Николаевич»? Когда из «Отчета» Библиотеки я узнал, что рукопись поступила в 1868 году от Ризкаллаха

Хассуна, мне все стало ясно и ряд нитей потянулся к этой оригинальной фигуре каллиграфа и политика, поэта и авантюриста. Арабский националист, он, спасая свою жизнь, бежал из Турции через Кавказ в Россию, кажется не без содействия нашего дипломата в Константинополе генерала Богуславского, который был когда-то приставом при Шамиле в Калуге. Ряд лет Хассун провел в Петербурге, наивно пытаясь добиться, чтобы Александр II помог основать самостоятельное арабское государство. Для поднесения ему и была предназначена, очевидно, эта рукопись – искусный каллиграфический фокус. Отчаявшись в своих попытках, Хассун переселился в Англию, откуда ядовитыми сатирами и зажигательными листовками вел борьбу с турецким султаном и туркофильской партией среди арабов. Большим другом его стал тоже талантливый человек и тоже немного авантюрист, востоковед Пальмер, таинственно убитый бедуинами на Синае в 1882 году; за два года до него также таинственно кончил свою жизнь в Англии и Хассун, как говорят, отравленный агентом турецкого султана. Он был большой любитель и знаток литературы: каллиграфически переписанные им рукописи украшают и другие собрания, попадаются и в Бейруте, и в Алеппо, и в Лондоне. России он отплатил за гостеприимство прочувствованными, хотя наивными стихами и очень оригинальным переводом нескольких басен Крылова на арабский язык.

3.

Сегодня я уже думал, что Иван Афанасьевич ошибся и достал мне не ту рукопись, которую я просил. Вчера неожиданно я наткнулся у [К.] Брокельмана в «Истории арабской литературы» на упоминание, будто в Публичной библиотеке сохранились образцы каллиграфии знаменитого историка Алеппо Кемаль ад-дина. Мне стало стыдно: опять иностранец лучше знает, что у нас находится, а мы даже нигде об этом не говорили. А ведь Кемаль ад-дин был известен не только как историк или дипломат, но и каллиграф. Сам грозный Хулагу, разорив его родной Алеппо в 1260 году, соблазнял Кемаль ад-дина вернуться из Каира, куда он спасся, на высокий пост главного судьи в Сирии. Понятно, что утром я торопливо шел в Библиотеку, волнуясь и как-то не веря, что буду держать в руках автограф знаменитого человека эпохи великих монгольских завоеваний. Иван Афанасьевич, как всегда быстро и несколько таинственно, вынес рукопись. Я с недоумением стал ее перелистывать. Передо мной был изящный альбом каллиграфических образцов, но гораздо более позднего времени – XV–XVI века. С интересом я любовался замечательными упражнениями из Герата, Бухары, Самарканда; мне стало ясно, что я вижу памятник каллиграфического искусства знаменитой Гератской школы, где алеппскому историку места не было. Однако, ошибки в ссылке тоже не было и Иван Афанасьевич начинал волноваться, доказывая, что рукопись соответствует шифру. Тогда я внимательнее принялся вглядываться в подписные образцы и быстро обнаружил, что среди них несколько раз фигурирует и какой-то Кемаль ад-дин, но это, конечно, мог быть только тезка знаменитого историка. Как случается часто, я поспешил заподозрить в ошибке старика Дорна с его каталогом, но, раскрыв книгу, сейчас же убедился, что он вовсе не сопоставлял этого каллиграфа с историком. Зна-

чит, ошибся сам Брокельман, а Иван Афанасьевич, как всегда, оказался прав. Я возвращался домой несколько разочарованный тем, что не увидел почерка знаменитого человека, но, по крайней мере, успокоившись, что мы не проглядели редкого автографа.

Позже судьба меня все-таки побаловала и в лейденской библиотеке я обнаружил целую историческую рукопись, переписанную самим Кемаль ад-дином в Багдаде в феврале 1257 года только за год до того, как «город мира» был razoren Хулагу.

4.

Все-таки старый Дорн, сказать правду, повинен во многих прегрешениях и немало фантазией на счет наших рукописей с его легкой руки из каталога пошло гулять по свету. Но поминая его лихом, мы часто забываем, что он работал в то время, когда не было еще не только Брокельмана, но даже Хаджжи Халифа не был полностью напечатан. И кто знает, меньше ли грешим мы сами, имея даже таких предшественников... Кроме того, иногда недоразумения Дорна утешают нас тем, что позволяют делать маленькие открытия. Лет тридцать тому назад я просматривал в Рукописном отделе один сборник небольших трактатов. Рукопись хотя и поздняя – начала XVI века, действительно была хороша: небольшого продолговатого узенького формата, она походила по характеру на альбом и была написана изящно и аккуратно в Египте каким то любителем, понимавшим толк в филологии. На последнем месте там стояли, по словам Дорна, извлечения из грамматических трактатов и посланий ат-Табризи. Я пробежал их не особенно внимательно, зная автора за очень трудолюбивого, но довольно ординарного комментатора; я с улыбкой вспоминал только, как после его смерти в Багдаде, где он кончил свои дни профессором в славном Медресе ан-Низамийя, показывали громадный словарь, который он притащил в молодые годы на спине из Тавриза в Сирию, чтобы проштудировать его у знаменитого слепого поэта и ученого Абу-ль-Аля в Маарре около Алеппо. Словарь выглядел, точно его вытащили из воды: настолько он пострадал за долгий путь от поэта на спине. И вдруг, проглядывая последнее послание, я почувствовал, что стиль его мало напоминает скучноватого ученого схолиаста: мне почудилась какая-то ирония по адресу вельможного адресата, закутанная эффективными риторическими фигурами и фразами наружного самоунижения. Внимание насторожилось; довольно было двух-трех справок и я убедился, что передо мною не извлечение из посланий ат-Табризи, как говорил Дорн, а оригинальное послание самого знаменитого слепца из Маарры, которое его ученик сохранил так же бережно, как принесенный на спине словарь. Оно сразу заиграло всеми красками острого насмешливого ума и я уже улыбался над всесильным египетским визирем, который прослышал про чудаковатого поэта-филолога и пожелал удостоить его высокой чести – приглашения по своему двору, чего безуспешно добивались многие. Однако, специальный гонец, отправленный к правителю Алеппо с приказом доставить слепого старика, вернулся только с извинительным посланием, которым я и наслаждался: Абу-ль-Аля писал в обычном для него тоне изящной, едва уловимой иронии, что он недостойн такого почета

и лучше ему оставаться в своем добровольном заключении. Трудно сказать, понял ли всемогущий визирь всю тонкость рассыпанной иронии, так как его едва ли не в том же году казнил владыка – фатымидский султан Египта. Так недоразумение в каталоге Дорна лишний раз натолкнуло меня на давнего любимца Абу-ль-Аля, рукописи которого неожиданно доставляли мне радость на жизненном пути и в Каире, и в Лейдене, сочинения которого сопровождали меня и на Черноморском побережье и даже тогда, когда других книг у меня не было.

5.

В рукописи по хорошему обыкновению вклеен листок с предварительным описанием, которое составил давний заведующий Восточным отделом Библиотеки. Описание – беспомощно; оно говорит только о том, что рукопись – какое-то географическое сочинение с картами странного вида, где упоминаются между прочим русы. И на этом же листке внизу вкось характерным ломаным почерком Виктора Романовича Розена карандашом приписано: «Да ведь это же Идриси!» Так и чувствуется, что в этом лаконическом восклицании он хотел обрушиться на беспомощного автора описания, который не узнал такой выдающийся памятник. Рукопись и сама по себе интересна: в 90-х годах ее купил в Тегеране полковник Косаговский, начальник недоброй памяти казачьей бригады, а начальник Генерального штаба, которому он ее поднес, здраво рассудил, что для нее лучшее место в Публичной библиотеке, где она и попала в верные руки Ивана Афанасьевича. Долог был ее путь, и как она очутилась в Иране, мы, верно, никогда не узнаем. Писана она прекрасным магрибинским североафриканским шрифтом с аккуратно вычерченными своеобразными картами – самым замечательным памятником европейской картографии XII века. Европейской – это не оговорка: ведь автор, аль-Идриси, потомок владетельных североафриканских эмиров, работал при дворе норманнского короля Сицилии Рожера, собирал рассказы и арабских, и варяжских, и славянских купцов-«гостей», знал не только Птолемея, но и Оросия. Рукопись наша, конечно, не автограф, но по времени могла быть копией с него; через много рук и в Африке, и в Азии, и в Европе она прошла, прежде чем найти успокоение на полке Рукописного отдела. А где ее первая половина, отставшая на этом пути, цела ли она, мы так и не знаем. Но рукописи иногда живучее, чем люди; может быть, и она когда-нибудь выплывет в неожиданном месте, а будущий Брокельман аккуратно занесет ее в свой реестр, но, вероятно, не сразу догадается, где ее вторая половина...

Эпилог

Они окружают меня. В бессонные ночи, в часы болезни, когда голова, охваченная лихорадочным жаром, не управляет мыслями, они толпятся кругом со всех сторон, робко, точно с боязнью подвигаются ко мне. В их шорохе я различаю такие голоса: «Ты не забыл нас? Ты не уйдешь от нас? Ты помнишь, как ты возвращал нас к жизни, как, вглядываясь в полустертые строки, ты медленно открывал их смысл, как в торопливой или вычурной приписке ты вдруг узнавал

нашу историю и легкий холодок волнения пробежал у тебя по спине? Одно блеснувшее перед тобой имя давало нам место в былом и мы опять оживали уже навсегда, пролежав в земле или в забытых сундуках сотни лет». Они обступают меня – и желтоватые дорогие пергамены со строгим куфическим шрифтом или неторопливым письмом синайских монахов, и блестящие страницы вощенной бумаги роскошных экземпляров из библиотек мамлюкских султанов, и бедные скромные, не бесценные автографы ученых, и торопливые записи их учеников, и уверенные, красивые, но холодно-бездушные почерки профессиональных переписчиков. Одни листы чисты и свежи, как будто только что вышли из рук первых владельцев, другие – обожжены и залиты водой, – следы бедствий, которые не щадили их, как не щадили людей. Точно страшные инвалиды без рук и без ног с мрачным укором глядят рукописи, лишённые листов в начале и конце; мне больно смотреть на зияющие рубцы их рваных ран. Они все окружают меня и шепчут: «Ты не забыл нас? Ты придешь к нам? Мы ведь сторицей отплатили тебе за то, что ты вернул нас к жизни! Ты помнишь, как в часы обид и огорчений, усталости и забот ты приходил к нам и с наших страниц неслись к тебе голоса верных друзей, которые всегда с радостью тебя встречают, которых никто у тебя не отнимет, над которыми сама смерть не властна. Целые неведомые главы истории открывались тебе, толпы живых людей сходили на твоих глазах с наших листов...». Они шепчут, я вглядываюсь и узнаю, и улыбаюсь им; страницы жизни своей и чужой встают у меня перед взором и ярких картин не может скрыть туман прошлого...

Март 1941 г.

И. Крачковский

Крачковский И. Ю. В Рукописном отделе (Лепестки воспоминаний) // ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 667. Л. 1–10 ; подробнее см.: [Крачковский И. Ю. Над арабскими рукописями](#) : листки воспоминаний о книгах и людях / Акад. наук СССР. 2-е изд., доп. М. ; Л., 1946. 170 с.